Промышленные монополии

Шёлковый синдикат

Маргарита Штерн



Маргарита Штерн

Шелковый синдикат

«Автор»
2026

Штерн М.

Шелковый синдикат / М. Штерн — «Автор», 2026

Зимой банк описал особняк Гарроу, а брат Оливии исчез, оставив письмо с предупреждением не верить людям в бархатных перчатках. От семьи осталась одна фабрика на окраине Эрендейла, долги вдвое больше её стоимости и тетрадь деда с формулой «живого шёлка», ткани, которая меняет цвет и плотность от прикосновения.Оливия собиралась сохранить фабрику и сделать эту ткань своей. Но шелковый король Дариус Вандербилт скупил её долги, поставщиков и патенты и предложил пари: выполнить заказы модного дома «Сильвейн» до весенних показов, и семейные долги спишутся. Не выполнить, и фабрика станет его. Оливия уверена, что умнее любых условий. Однако ночные аварии, переписанные журналы и поставщики, которые знают цены, названные только ей, заставляют искать предателя в собственном цеху.Чем дольше длится сезон, тем труднее понять, кто держит её в клетке: синдикат, модный дом, начальник ночной смены с вежливой улыбкой или мужчина, который слишком внимательно смотрит, как она трогает ткань.

© Штерн М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 17
Глава 4 22
Глава 5 28
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Маргарита Штерн
Шелковый синдикат

Глава 1
Зимняя опись

Опись начали с люстры. Старший пристав, господин Корвин, объяснил это без всякого смущения: люстра стоит дороже всех нас вместе взятых, и её оценивают первой, пока никто не успел нервничать. Он стоял под ней, задрав седую голову, в суконном пальто, из-под которого торчал край крахмального воротничка, и смотрел на хрустальные подвески так, будто они ему что-то задолжали.

Я стояла в дверях гостиной с чашкой кофе, который остыл раньше, чем я успела его допить. В доме больше не топили по утрам. Камин работал на половинной тяге: кристалличе-ское топливо подорожало ещё осенью, и отец распорядился экономить. Экономить теперь было не на чем. Дыхание выходило паром, и я видела, как у секретаря описи, молодого человека лет двадцати с гладко зачесанными волосами и карандашом за ухом, покраснели пальцы.

— Одиннадцать рожков, богемский хрусталь, — диктовал Корвин. — Подвески полные, два утрачены. Состояние удовлетворительное.

Секретарь вывел слово «удовлетворительное» с таким старанием, будто оно могло что-то изменить.

— Это наша люстра, — сказала я. — Её привезли бабушке на свадьбу из Гренвиля. Сорок лет назад.

— Понимаю, госпожа Гарроу. — Корвин наконец опустил голову и посмотрел на меня поверх очков. — Мы описываем всё, что числится в залоге. Пока ничего не вывозим, только считаем.

— В каком залоге?

Он не ответил сразу. Перелистнул страницу в кожаной папке, поправил лен-точку-закладку и только потом сказал:

— Давайте пройдём в кабинет вашего батюшки. Там удобнее разговаривать о бумагах.

Кабинет отца пах так же, как всегда: бумагой, сургучом и табаком, которого он не курил уже два года, но не выветрил из ковра. Я шла за приставом по коридору и механически считала двери, портьеры, напольные вазы. Портьеры в коридоре были из тяжёлого лионского шёлка, с гладким атласным лицом и матовой изнанкой. Я не удержалась и провела пальцами по краю. Основа двойная, уток сатиновый, плотность ниже, чем обещали в каталоге, — кто-то экономил на нити. Смешно. Я стояла посреди коридора, оценивая чужую работу, пока в доме описывали мою жизнь.

В кабинете Корвин разложил на столе отцовского бюро несколько листов с гербовой печа-тью. Секретарь встал за его плечом.

— Вексель номер сорок один, — сказал Корвин. — Сумма — шестьдесят две тысячи талеров, срок платежа — прошлый октябрь. Подпись векселедателя — ваш отец, Лайонел Гар-роу. Индоссамент — Джулиан Гарроу.

Я взяла лист. Отцовская подпись: длинная, с петлёй на букве «Г», которой он гордился, потому что её не мог повторить ни один клерк в банке. Подпись Джулиана рядом: торопливая, с хвостом у «Д», будто он расписывался на ходу, стоя в дверях.

— Это его почерк, — сказала я.

— Это его подпись, — мягко поправил Корвин. — Почерк в суде не учитывают.

Я перебирала листы один за другим. Двадцать три векселя, восемь закладных, два поручительства, о которых я не слышала ни разу. Суммы росли от страницы к странице, как ткань на станке, когда уток ложится всё плотнее и плотнее. Я знала, что такое долг. Я вела учёт фабричных авансов с шестнадцати лет. Но то, что лежало передо мной, не имело отношения к закупке шерсти или к жалованью цеху.

— Почему я вижу здесь банк «Меридиан» только на половине листов? — спросила я.

— Потому что остальные выкуплены, — ответил Корвин. — В ноябре и декабре. Держатель сменился.

— Кто держатель?

— Торговая компания. — Он перевернул закладку и прочёл, не поднимая глаз: — «Тессель и партнёры», через доверенное лицо. Вам, полагаю, это имя ничего не говорит.

Оно ничего не говорило. Я попыталась вспомнить, кто из отцовских знакомых занимался векселями, и вспомнила только Мартина Дэйла из клуба на Лебединой набережной, который всегда носил перчатки даже за столом. Но Дэйл никогда не покупал долги. Он их продавал.

— Значит, банк больше не мой кредитор, — сказала я.

— Банк ваш кредитор только там, где не продал, — ответил Корвин. — Остальное теперь у людей, которые не привыкли ждать.

Секретарь переступил с ноги на ногу и кашлянул. Пар от его дыхания завис над бюро. Я заметила, что он смотрит не на бумаги, а на мои руки — на пальцы, которыми я держала вексель, и на чернильное пятно от вчерашней записи в журнале.

— Джулиан знал о выкупе? — спросила я.

— Не могу сказать. Вы спрашиваете о его осведомлённости, госпожа Гарроу, а я описываю имущество.

— Вы описываете мою семью.

— Нет, — сказал Корвин без злости. — Я описываю то, что осталось от вашей семьи после того, как её долги переехали в другие руки.

Я отложила вексель. Руки у меня были холодные, и я разозлилась на то, что это заметно. Конечно, заметно: в доме не топят, а я стою в шёлковом платье, которое надела для встречи с банкиром, и думаю, что банкир, по крайней мере, мог бы прийти в дорогом пальто, а не в казённом.

— Мой брат не появлялся со вторника, — сказала я. — Если вы ищете его подпись на чём-то ещё, найдите его сами.

— Мы его не ищем. Мы ищем подписи.

Корвин открыл последнюю папку, сверил что-то с листом секретаря и откашлялся, как человек, которому предстоит зачитать приговор по делу, давно решённому. Он не стал вставать и не стал понижать голос. Говорил ровно, словно сводку погоды на завтра.

— С учётом процентов, пени по просроченным векселям и штрафов по закладным, которые держатель вправе начислить по состоянию на сегодняшнее число, общая сумма обязательств семьи Гарроу составляет шестьсот сорок тысяч талеров.

Я ждала, что он скажет «без учёта имущества», но он молчал, и это было страшнее.

Шестьсот сорок тысяч. Я знала, сколько мы стоили вчера, по собственным расчётам, которые делала ночами для отца: особняк, мебель, картины, доля в фабрике, часть акций, которые уже не стоили бумаги. Выходило триста двадцать тысяч, если продать всё по справедливой цене, а справедливых цен, как я теперь понимала, не бывает.

Вдвое. Ровно вдвое, хотя пристав, кажется, даже не заметил, какую арифметическую шутку разыграла с нами жизнь.

Корвин закрыл папку и подвинул её ко мне через стол. Жест был вежливый, почти заботливый, как у врача, который передаёт пациенту рецепт на лекарство, которого в аптеке уже нет.

— Вы вправе ознакомиться с расчётом, — сказал он. — И вправе оспорить каждую строку в течение десяти дней. Для этого нужен поверенный. Если хотите, я назову несколько имён, но предупреждаю: большинство из них работают с теми же людьми, что и держатель.

— Какими людьми?

— С теми, кто выкупил долги.

Он снова ушёл от ответа, и я снова не стала настаивать. Вместо этого я открыла папку и пробежала глазами по столбцам. Цифры стояли ровно, без помарок, и каждая вела к следующей, как нити в саржевом переплетении: одна уходит под другую, другая поднимается над ней, и вся ткань держится на порядке, которого не видно, пока не потянешь. Я нашла пени. Они начислялись с точностью часового механизма, по дням, по процентам, по ставке, которую отец в своё время отказался подписывать и которую в итоге подписал Джулиан, судя по строчке с его инициалами на поручении.

— Здесь ставка выше договорной, — сказала я.

— Договорная ставка изменилась в декабре, — ответил Корвин. — Вы найдёте уведомление в конце второго тома.

Я нашла. Уведомление было составлено грамотно и отправлено на адрес особняка, куда в декабре никто не заглядывал: отец в это время лежал с лихорадкой, а я сидела на фабрике с Агнес, считая пряжу. Я не помнила ни одного конверта с гербом банка «Меридиан». Ни одного.

— Почему это не пришло мне? — спросила я.

— Оно было адресовано вашему батюшке.

— Он был болен.

— Тем не менее, — сказал Корвин и впервые за утро посмотрел на меня без казённой вежливости, с каким-то усталым сочувствием, которое мне совсем не понравилось. — Госпожа Гарроу, я не обвиняю вас и не защищаю их. Я пишу опись.

Секретарь тем временем собрал свои листы и вышел в коридор. Через приоткрытую дверь я слышала, как он считает вслух, отмечая в журнале каждую вазу и каждую статуэтку: фарфор «Сен-Клу», двенадцать предметов, один надбит по краю; часы из карельской берёзы, не ходят; ковёр шерстяной, размер четыре на шесть, узор повторяющийся, износ по центру. Слово «износ» он произнёс так, будто извинялся за ковёр лично.

Я пошла за ним. Не потому, что хотела что-то изменить, а потому, что не могла сидеть в кабинете отца, где пахло табаком, которого здесь больше не курили. В гостиной было холодно даже для ноября. Портрет бабушки над камином висел криво, и никто не стал его выравнивать. Я смотрела на её лицо, написанное в тёплых тонах, на шёлковый воротник платья, который художник изобразил так точно, что я могла бы назвать плетение: тафта, нить тонкая, блеск неравномерный. Такие воротники шили на фабрике ещё при деде, и Агнес до сих пор помнила, какой станок их ткал.

— Картину тоже опишете? — спросила я у секретаря.

Он покраснел ещё сильнее и опустил карандаш.

— Картины, госпожа, оценивает приглашённый эксперт. Я только фиксирую наличие.

— Наличие, — повторила я. — Прекрасное слово.

Корвин стоял в дверях и смотрел на меня с тем же неразборчивым выражением. Потом сказал, будто сообщал прогноз погоды:

— Завтра придёт эксперт. Вам лучше не присутствовать. Такие вещи тяжело видеть.

Я хотела спросить, что именно тяжело видеть: как оценивают бабушку или как вешают на неё ценник. Но промолчала. Подняла чашку, поняла, что кофе давно остыл, и поставила её обратно на каминную полку, рядом с часами, которые не ходили.

Шестьсот сорок тысяч. Я повторяла эту цифру про себя, как повторяют строку из чужого контракта, чтобы не спутать слова. Странно: она не звучала как долг. Она звучала как чей-то расчёт, и этот расчёт был выверен так, что в нём не было ни одной лишней нити.

* * *

Наверху было холоднее, чем внизу. Лестница уходила под потолок, и тепло от камина туда не добиралось, так что каждая ступенька отзывалась сырой прохладой, будто дом давно перестал считать эту часть себя своей. Я шла медленно, держась за перила. Из кабинета доносился голос Корвина, который зачитывал что-то эксперту из банка, а на первом этаже хлопнула дверь: кто-то из приставов вынес во двор стул, и я слышала, как он скребёт по каменным плитам.

Дверь в комнату Джулиана была приоткрыта. Я толкнула её и остановилась на пороге.

Комната выглядела так, словно её уже описали и вычеркнули из списка. Кровать застелена, но без покрывала. Ковёр сдвинут к стене, на паркете светлели неровные полосы от каблуков. Письменный стол пуст, если не считать чернильницы без крышки и одного-единственного пера, лежащего поперёк промокашки. Брат никогда не оставлял перьев поперёк. Он оставлял их где попало, и я всю жизнь подбирала за ним то перо, то запонку, то сигарный обрезок, который он прятал в книге, будто это была важная страница.

Шкаф стоял раскрытым настежь. Внутри висели две пары брюк, одна из них без пояса, и жилет из тёмно-синего бархата, который Джулиан надевал на любое сомнительное дело. Костюмы, которые он заказывал у портного на Лоскутной, исчезли. Исчезли и сорочки из тонкого батиста, и шёлковый халат цвета старой бронзы, который мать подарила ему на совершеннолетие. Я знала, что он не взял бы халат, если бы собирался надолго, и знала, что он всё равно его взял, потому что Джулиан никогда не умел оставлять вещи, которые любит, даже когда любил их недолго.

Я провела рукой по створке шкафа. Дерево было холодным, с тонкой трещиной вдоль филёнки. Внутри пахло одеколоном с нотами сандала и чем-то ещё, сладковатым, как старая ткань, которую слишком долго держали в сундуке.

Часы стояли на комоде. Это были карманные часы отца, серебряные, с крышкой, на которой выгравирован наш герб. Джулиан любил заводить их по вечерам, сидя на подоконнике, и вечно забывал завести до конца, поэтому они то спешили, то отставали, и отец каждый раз ворчал, что сын не различает минут и часов. Сейчас стрелки показывали без четверти три. Заводная головка была выкручена до упора, и это означало, что кто-то завёл часы сильно, почти со злостью, и потом положил их, не закрыв крышку. Механизм остановился. Может, от холода, может, от того, что пружина была перетянута.

Я не стала их трогать.

Письмо лежало на подушке, там, где обычно лежала его ночная рубашка. Сложенный вчетверо лист плотной бумаги, без герба, без даты, без адреса. Я посмотрела на него, потом села на край кровати, и пружины под матрасом скрипнули, как дверь в цехе, которую давно собирались смазать.

Развернула.

Почерк был его: размашистый, с наклоном влево, с длинными хвостами у буквы «д», которые он выводил, когда торопился или злился. Строки шли неровно, местами чернила расплылись, будто на лист капнули водой.

Оливи,

не спрашивай, куда я пошёл и когда вернусь. Если вернусь. Знаю, что ты скажешь: опять он сбегает от кредиторов, опять он всё испортил, опять нам с тобой расхлёбывать. На этот раз всё хуже, и не потому, что я наделал долгов. Долги я наделал по глупости. Всё остальное сделали не глупые люди.

Не верь тем, кто придёт в бархатных перчатках. Ты их узнаешь. Они всегда вежливые, всегда в курсе, и всегда знают, какой день у тебя свободен. Не подписывай ничего, пока не проверишь сама, даже если подписывать будет нужно срочно. Особенно если срочно.

Береги фабрику. Знаю, что ты её не любишь, что тебе там скучно, что Агнес тебя терпеть не может. Береги её всё равно. Дед не зря прятал то, что прятал.

Прости меня. Я правда хотел всё исправить.

Твой Джулиан

Я перечитала письмо дважды. На третий раз заметила, что он нигде не назвал ни одного имени. Ни банка, ни синдиката, ни человека. Ни одного конкретного слова, которое можно было бы передать приставу, судье или поверенному. Только бархатные перчатки, как будто речь шла о фокуснике, а не о людях, которые выкупили наши долги за спиной семьи. Джулиан всегда писал так, когда боялся, что письмо прочтут не те люди. Он шутил, когда был спокоен, и юлил, когда было страшно, и в этом письме не было ни одной шутки.

Я положила лист на колени и посмотрела на окно. Стекло покрылось наледью по краям, и через его середину был виден кусок серого неба, а внизу, на соседнем доме, кто-то повесил на верёвку мокрое бельё, которое уже начало замерзать. Бельё шевелилось на ветру, а я думала о том, что Джулиан ушёл ночью. Не в понедельник, не в среду, как мне сначала казалось, когда я искала его по клубам и по домам его приятелей. Ночью, в тот самый час, когда в доме уже стояла тишина, а кухарка ещё не начала греть воду. Значит, кто-то видел, как он выходил. Или не видел, и тогда это хуже.

Я вспомнила, как прошлой осенью Джулиан сидел за обеденным столом и крутил в пальцах серебряную вилку. Говорил, что банк «Меридиан» хороший, что там люди умеют считать, что с ними можно договориться. Тогда я сказала, что все банки одинаково любят чужие деньги. Он рассмеялся и ответил, что я слишком похожа на деда, который считал, что чужие деньги надо отбирать только через суд.

Дед. Я посмотрела на письмо. *Дед не зря прятал то, что прятал.*

Внизу скрипнула лестница, и мужской голос произнёс что-то о «комнатах второго этажа». Я поднялась, сложила письмо и сунула его в карман жакета, рядом с ключом от фабричного склада, который всё это время лежал там без дела. Если брат хотел, чтобы я нашла его слова, он выбрал неудачное место. Или удачное: в доме, где всё уже описано, самое опасное — то, что ещё не попало в опись.

У двери я обернулась. Кровать, шкаф, стол с пером, часы, которые остановились, потому что их завели слишком сильно. Вещи, которые больше не принадлежали никому из нас. Картина на стене — пейзаж с мельницей, который мать купила на аукционе, — висела криво, и никто её не поправлял.

Я перебрала в уме то, что ещё можно было назвать семейным. Особняк на Кленовой улице уже был в списке приставов. Мебель туда же. Фарфор «Сен-Клу» с надбитой чашкой, картины, бабушкин портрет, отцовские часы. Акции, которые больше не стоили бумаги, и векселя, которые стоили слишком много. Оставалась только фабрика. Ткацкое предприятие «Гарроу и внуки» на окраине Эрендейла, у Зелёного канала, где пахло маслом, копотью и горячим металлом, где по ночам гудели паровые приводы, а в складах стояли бочки с красителем, от которого ногти неделю не отмывались. Фабрику не успели выставить с молотка. Записи о ней лежали в нотариальной конторе, где старый Вайнберг перекладывал бумаги с места на место и говорил, что у него всё в порядке, пока никто не просит показать.

Внуков, если честно, было двое. Я и Джулиан. Дед назвал фабрику так, будто в семье уже подрастает целая толпа ткачей, и мы с братом всю жизнь смеялись над этим названием, как над чужой шуткой. Теперь выходило, что шутка досталась мне одной.

Я спустилась по лестнице, придерживаясь за перила, и на последней ступеньке поняла, что всё это время держала в кулаке тот самый ключ, пока он не оставил на ладони глубокий красный след.

Глава 2
Тайник деда

Фабрика стояла на изгибе Зелёного канала, там, где вода уже затянулась тонкой серой коркой и никто не решался по ней ходить. Трамвай высадил меня у моста, и дальше я шла пешком, держась подальше от грязных сугробов, которые сгребали к обочине и поливали чем-то маслянистым, чтобы не замерзали. От них тянуло тяжёлым запахом машинного масла, и я подумала, что это первое, что в городе узнаёт каждый новый хозяин. Второе, как выяснилось, была копоть.

Труба над ткацким корпусом выбрасывала густой дым, который ветер прижимал к крышам. Над двором, как всегда, дрожала защитная сетка: тонкое мерцание над кровлей, за которое фабрика платила городской гильдии заклинателей по особому тарифу. Дед считал его напрасной роскошью. Отец говорил, что без неё страховщики не подпишут ни одного полиса. Теперь оплачивать сетку предстояло мне, и я уже знала, что каждый час её работы стоит столько же, сколько смена на кристаллическом топливе для половины ткацких станков. Защита, как и всё в Эрендейле, была товаром, и цену ей назначали те, кто умел считать дольше других.

Ворота открыл сторож в овчинном тулупе. Он молча посмотрел на мой жакет, потом на сумку с бумагами и кивнул на узкую дверь конторы рядом с проходной.

— Вы из банка? — спросил он.

— Я из семьи, — ответила я. — Меня ещё никто не успел перевести в другую категорию.

Он хмыкнул, как будто это была не шутка, а диагноз.

В конторе пахло остывшим кофе, сургучом и сыростью. За столом сидела женщина лет пятидесяти восьми, в тёмной шали поверх серого рабочего платья. Руки у неё были в старых ожогах, гладких и бледных, как воск. Она не встала, когда я вошла, только подняла глаза от журнала и долго смотрела на меня поверх очков, словно сверяла с каким-то образцом.

— Гарроу, — сказала она. — Внучка.

— Оливия Гарроу. Вы, видимо, Агнес Роуз.

— Видимо. — Она перевернула страницу. — Старшая мастерица ткацкого цеха. Меня здесь помнят все, кроме тех, кто приезжал на фабрику только за подписью. Садитесь, если хотите. Стул справа прочный, левый качается.

Я села на правый. Агнес взяла со стола лист, исписанный мелким наклонным почерком, и протянула мне, не вставая.

— Список станков, которые не работают или работают плохо. Двенадцать ткацких из сорока шести. Четыре с разбитыми каретками, три с износом эксцентриков, два челночных короба заедают, и один, номер семь, я вам советую не трогать руками, пока не придёт механик.

Я пробежала список. Почерк был точным, без единой лишней буквы. Против каждого номера стояла дата последней поломки и примерная стоимость ремонта. Против семёрки стояло «эксцентрик, зазор, основа идёт рывками» и приписка, подчёркнутая дважды: «не ремонтировалось с весны прошлого года».

— Почему вы решили, что я стану это читать? — спросила я.

— Потому что вы пришли. Прежние владельцы приходили только к обеду и спрашивали, сколько станков можно продать на металлолом. — Агнес сняла очки и протёрла их краем шали. — Вы технолог?

— Закончила курс в Вейлоне. И два сезона проработала на фабрике у Кэрроллов, пока отец не решил, что ткачихе не место в семье.

— Значит, знаете, что такое основа.

— Знаю, что она держит всё остальное, — сказала я, и Агнес впервые за весь разговор чуть заметно двинула уголком рта. Это не было улыбкой. Скорее, так человек отмечает, что ему не соврали.

В дверь постучали. Вошёл мужчина лет сорока пяти, в тёмном сюртуке, с аккуратно подстриженными усами и серым шарфом, который он снял и сложил вдвое, прежде чем поздороваться. Двигался он бесшумно, как человек, который привык ходить по цеху среди работающих станков и не мешать им.

— Лоуренс Пэйн, — представился он. — Начальник ночной смены. Мне сказали, что вы хотели увидеть ткацкий зал до начала дневной смены. Пока там тихо.

— Вы уверены, что тихо? — спросила я.

— Тихо настолько, насколько может быть в цеху, где работают сорок шесть паровых станков. — Он чуть улыбнулся. — Вам лучше надеть шапку. Там сквозняк от окон под самым потолком, и зимой он выдувает всё, что не закреплено.

Агнес встала, взяла со спинки стула тяжёлый платок и вышла первой, не оглянувшись. Пэйн пропустил меня в дверь и пошёл следом, на полшага позади, как провожатый в театре.

Ткацкий зал оказался длиннее, чем я помнила по детским посещениям. Станки стояли в два ряда, чёрные, с медными накладками, которые протёрли до блеска тысячи рук. Над ними тянулись трансмиссионные валы, от которых шли ремни к паровому приводу в дальнем конце зала. Пар шипел в трубах, и звук этот был не громким, но постоянным, как дыхание большого животного. Воздух пах маслом, горячим металлом, а где-то в глубине тянуло влажной шерстью и кислым запахом протравы. Свет падал из окон под потолком тусклыми полосами, и в каждой полосе медленно плавала пыль.

— Вот здесь, — сказал Пэйн, остановившись у ряда станков, — челноки проходят через коробку по четыре такта. Если коробка заедает, уток ложится неровно, и тогда ткань идёт волнами. Это видно сразу, но не все мастера замечают, пока не выйдет первый брак.

Он говорил спокойно, не поднимая голоса, и при этом слова его ложились точно, как нити на бердо. Он знал, сколько раз в неделю смазывали подшипники, когда меняли ремни и какого сорта масло шло на каретки. Назвал по имени двух механиков, которые дежурили в ночь, и сказал, что старший из них, Томас, уже третий год просит нового сепаратора для масла, но управляющий всё откладывал.

— Управляющий был моим дедом? — спросила я.

— Нет. Он был при вашем отце. Ваш дед не любил, когда кто-то говорил ему о масле. Считал, что ткань пахнет тем, чем её хотят пахнуть.

— Вы его знали?

— Работал здесь двенадцать лет. — Пэйн посмотрел на станок номер семь, который стоял чуть в стороне, с отключённым приводом и сорванной крышкой. — Дед вашей семьи проверял эксцентрики каждую весну, сам, с отвёрткой и папиросой в зубах. Прошлую весну, насколько помню, его уже не было.

Он произнёс это без нажима, как строчку в журнале. Я отметила про себя, что он помнит, когда дед проверял станок, и что я сама этого не помнила. Дед умер, когда мне было девятнадцать. С тех пор я слышала о фабрике только из писем отца и из разговоров за обедом, где её называли «наш старый сарай». Пэйн же говорил о ней так, будто каждый её винт прошёл через его руки. Это было приятно и немного тревожно, как неожиданная вежливость от незнакомца в очереди на почте.

— Вы хорошо знаете станки, — сказала я.

— Станки знают друг друга лучше, чем люди, — ответил он. — Я просто слушаю, что они говорят. Если семёрка рывками гонит основу, значит, с её эксцентриком что-то не так. Это не секрет, и ничего особенного. Любой механик скажет то же самое, если спросить вовремя.

— А вы спрашивали?

— Каждую ночь, — сказал он и чуть склонил голову, будто извиняясь за то, что ответ выходит таким простым.

Мы прошли мимо красильного отделения. Двери там были заперты, и за стеклом виднелись бочки, покрытые пылью. Пэйн сказал, что красильщики сейчас на складе, перебирают остатки протравы, и если я хочу посмотреть, он передаст старшему, чтобы открыли. Я сказала, что не сегодня. Он кивнул так, словно другого ответа и не ждал.

Когда мы вернулись к конторе, Агнес уже стояла у двери. Она держала в руке ещё один лист, сложенный пополам, и не отдала его сразу. Пэйн попрощался, сказал, что вернётся в ночную смену, и ушёл к проходной, на ходу поправляя шарф. Агнес проводила его взглядом, потом повернулась ко мне.

— Номер семь, — сказала она. — Вы решили?

— Я ещё не видела механика.

— Механика вам покажу я, если понадобится. Он здесь нужен не для того, чтобы смотреть. — Она положила листок на ладонь и протянула мне. Внизу было написано: «Эксцентрик — заменить. Коробка — перебрать. Основа — проверить по всей длине. Стоимость: сорок два талера, плюс работа». — Цех ждёт до конца недели. Если до пятницы не будет решения, я поставлю семёрку на разбор сама, своими людьми. И тогда в журнале появится запись, которую вы не сможете отменить.

— Почему вы так уверены, что я откажусь?

— Я не уверена. — Агнес убрала руку и посмотрела на меня прямо, без сочувствия и без вражды, как смотрят на ткань, которую собираются проверить на разрыв. — Но прежние хозяева говорили «посмотрим» каждую неделю, пока станки не вставали. Вы можете сказать «посмотрим», только учтите, что в пятницу это будет слышно во всём корпусе.

Я посмотрела на листок. Потом на станок номер семь, который стоял в дальнем ряду с открытой крышкой и опущенным челноком, словно ждал, что его кто-нибудь наконец доделает.

— К пятнице, — сказала я. — Решение будет.

Агнес кивнула один раз и вернулась в контору, не закрывая за собой дверь. Из цеха донёсся гул привода, медленно набирающий обороты, и я поняла, что дневная смена уже пришла, а я всё ещё стою на сквозняке с листком в руке, и мне нужно спешить.

* * *

Склад красителей находился в торце корпуса, за красильным отделением. Туда вела либо дверь из красильни, где меня уже видели, либо наружная железная лестница со стороны Зелёного канала. Я выбрала лестницу. Меньше глаз, меньше вопросов о том, зачем хозяйка лезет туда, где пахнет серной кислотой и мокрым камнем.

Ступени обледенели за ночь. Я держалась за поручень, который был ледяным даже через перчатку, и думала о том, что дед, наверное, поднимался здесь каждое утро, в любую погоду, с папиросой в зубах и с ключом в кармане жилета. Он никогда не брал меня с собой. Говорил, что на складе ничего интересного для девочки нет, кроме запаха, а запах у красителей такой, что потом неделю не отмоешься от волос.

Ключ я нашла в конверте, в котором Джулиан оставил письмо. Не сразу. Сначала я решила, что это ключ от его шкафа, и весь вечер перебирала связку от дома, пока не сообразила, что зубцы у ключа другие, мельче и резче, с тем самым заусенцем, который делают только в одной мастерской на Кузнечной улице. Дед ходил туда двадцать лет. Мастер там тоже, наверное, давно умер, но ключ работал.

Дверь подалась с сухим скрипом. Внутри пахло так, как я и ожидала: пыль, железо, а поверх всего — сладковатая горечь протравы и что-то едкое, похожее на сырой уголь. Я зажгла фонарь. Стеллажи вдоль стен были пусты, только на нижней полке стояли жестяные банки без

этикеток, покрытые слоем серой пыли. На одной из них кто-то вывел мелом цифру «3», и эта цифра выглядела свежей. Я отметила это и тут же отогнала мысль. Склад закрыт, ключ один, и даже Агнес не стала бы писать на банках мелом, она предпочитала чернила и аккуратность.

Дальняя стена была обшита дубовыми панелями. Они потемнели от времени и от масла, которое всё равно просачивалось сквозь поры, сколько бы ни мыли. Я провела ладонью по дереву, ища то, что искала. Третья панель справа от окна чуть отходила от стены, если нажать у самого края. Я нажала. Щёлкнуло глухо, как сломанная пружина в часах.

За панелью был не тайник в привычном смысле, а узкая ниша, глубиной в локоть, обитая листовым железом. Внутри лежала тряпичная папка, перевязанная бечёвкой, и поверх неё — тетрадь в чёрном коленкоре, с потёртыми углами. На обложке ничего не было написано. Только кляксой отпечатался след от пальца, и в этом отпечатке было что-то от деда: он всегда писал правой рукой и держал перо слишком крепко.

Я села на бочку прямо в пальто и открыла тетрадь.

Первые страницы были расчётами. Мелкий почерк деда, с сокращениями, которые я помнила по старым счетам: «осн.» — основа, «ут.» — уток, «пл.» — плотность. Потом шли таблицы: температуры, проценты, веса. Дед вёл учёт по дням, как ведут журнал смен, и каждая запись начиналась с числа и часа. Я перелистывала медленно, потому что не верила глазам. Потом начала верить, и руки у меня стали неловкими, как после долгой работы на холоде.

Формула была записана на отдельном листе, в самом конце, и озаглавлена одним словом, подчёркнутым дважды: «Живой». Ниже стояло полное название, которое дед, видимо, не решился произнести вслух: «Шёлк с переменной плотностью, отзывчивый к теплу». Состав волокна шёл сразу, без предисловий. Основой служил обычный тутовый шёлк, но в прядь вводилась добавка, которую дед называл «крошкой». Он не объяснял, что это такое. Только указывал пропорции и температуру, при которой нить начинала «дышать». Так и было написано: «дышит при 34 градусах, сжимается при 20, светлеет при 40». И приписка на полях, другими чернилами, более нервным почерком: «Не сушить на солнце. Не хранить рядом с углём».

Я закрыла тетрадь и положила ладонь на обложку. Коленкор был тёплым. Наверное, от моей руки, потому что склад совсем не отапливался.

Поначалу мне просто хотелось смеяться. Я представила, как рассказываю об этом в банке. Пристав Корвин, который описывал нашу люстру и не смог назвать цену фарфора «Сен-Клу» без подсказки секретаря, слушает меня с вежливым видом и спрашивает, сколько стоит ткань, которая меняет цвет. Смеяться не получалось. Я подсчитывала.

Если формула работает хотя бы наполовину, то шёлк, который греется от тела, можно продавать дороже любого бархата. Дамы на Закатном проспекте платят за переливчатые ткани по сорок талеров за локоть, а за ткань, которая меняется от прикосновения, заплатят вдвое, и не из тщеславия, а из страха отстать. Кристаллическое топливо подорожало в этом году на треть, и каждая смена на фабрике теперь стоит на треть дороже, чем в прошлом. Ткань, которой не нужен уголь на отопление цеха, — это не просто товар. Это воздух, которым можно дышать в убыток конкурентам.

Потом я подумала о другом. О том, что вся моя семья держалась на этом складе, на этой фабрике и на одной тетради, о которой никто не знал. Отец не знал. Джулиан, судя по письму, знал слишком мало и слишком поздно. Дед знал всё, и его больше нет.

И тогда я поняла, что это тетрадь стоит больше, чем всё, что осталось у меня после описи: больше фабрики, больше станков, больше векселей, которые я ещё не успела прочитать. Она стоила ровно столько, сколько стоит вещь, за которой кто-то охотится. А охотиться за ней могли многие. Кто-то, кто знал про ключ. Кто-то, кто знал про панель. Кто-то, кто писал мелом на банках.

Он не ждал, что я сюда дойду. Но он знал, что здесь что-то есть.

Я сама удивилась этой мысли. Мне было не до мистики, и я не собиралась строить догадки на цифре, написанной мелом. Но ощущение, что за мной кто-то наблюдает из-за соседней стены, никуда не делось.

Я встала, отряхнула юбку и сунула тетрадь за пазуху, под пальто, туда, где обычно держала образцы. Коленкор жёстко упёрся в рёбра. Вторую руку я положила на грудь, словно проверяла, не выпирает ли что-то. Не выпирало. Тетрадь лежала тихо, как хорошо сделанная вещь, которой не нужно быть заметной.

Папку с бечёвкой я оставила в нише. Пока не разберусь, что в ней, пусть остаётся там, где её прятали. Панель я вернула на место, и она встала с тем же глухим щелчком, и снова стала просто частью стены.

Выходя, я погасила фонарь, но не сразу. Постояла в темноте, слушая, как где-то за стеной ровно работает паровой привод, и как Агнес выкрикивает что-то в проход, и как капает вода с трубы. Потом вышла на лестницу, заперла дверь на два оборота и проверила ручку, хотя знала, что дверь заперта. Ключ лёг в карман к перчаткам.

Я не скажу никому. Ни Агнес, которая и так не верит мне ни на грош. Ни Пэйну, который знает станки лучше меня и наверняка захочет узнать и про тетрадь. Ни нотариусу, пока не прочитаю всё сама. Тетрадь будет ждать у меня под пальто, тёплая от моего тела, и это, как ни странно, было самым правильным, что я сделала за весь день.

Агнес ждала меня на площадке у лестницы. Она стояла, прислонившись плечом к стене, и держала под мышкой раскрытый журнал смен. Перчаток на ней не было, пальцы в чернильных пятнах, а на левом запястье желтел старый ожог, похожий на след от раскалённой планки.

— Вы ходили на склад, — сказала она. Это был не вопрос.

— Проверяла состояние помещения, — ответила я. — Сырость там, как я и думала.

— Сырость там всегда. Дед ваш держал склад сухим, но протравой пахнет даже в сухости. — Она перелистнула страницу, не глядя в неё. — Станок номер семь. Вы обещали решить до конца недели.

— Я помню.

— Вы помните. — Агнес посмотрела на мой карман, потом на пальто, и я поняла, что она смотрит не на ключ, а на то, как я держу руку. Я держала её слишком плотно, прижав к груди, будто там было что-то живое. — Механик из Нижнего квартала просит за ремонт четыреста талеров и гарантирует, что через месяц сломается снова. Я могу сделать дешевле. Мне нужно разрешение и человек, который не будет смотреть на меня так, будто я краду у него из кармана.

— Я не смотрю.

— Смотрите. Все смотрят. Просто некоторые умеют делать вид, что это не так.

Я хотела ответить, что у меня нет времени на дешёвый ремонт и дорогие разрешения, что у меня вообще ничего нет, кроме банковской описи и долгов, которых я не понимаю. Но вместо этого спросила, сколько дней станок стоит без дела и сколько он стоил бы, если бы никогда не ломался. Агнес моргнула. Видимо, такого вопроса от хозяйки она не ждала.

— Двенадцать дней, — сказала она. — И примерно пятьсот талеров в неделю, если считать простой и брак. Вы умеете считать. Это хорошо.

— Это единственное, что я умею.

— Тогда считайте до пятницы.

Она повернулась и пошла вниз по лестнице, стуча каблуками по металлу. Журнал остался у неё под мышкой. Я подумала, что она, наверное, всегда так уходит: не прощаясь и не оборачиваясь, будто разговор был не окончен, а просто отложен до того момента, когда ей понадобится ещё одна бумага.

В коридоре пахло маслом и горячим железом. Где-то в ткацком зале прошёл сбой, и станки на секунду замолчали, а потом снова взялись за работу, ровно и без жалости. Я остановилась у окна. Стекло было холодным, и я приложила к нему ладонь без перчатки, просто

чтобы проверить. За стеклом лежал двор, засыпанный серым снегом, и по каналу тянулась баржа с углём, низкая, тяжёлая, как всё, что тянется по воде в этом городе.

Тетрадь под пальто грела рёбра. Я ощущала её ровно, как пульс, и это было странно, потому что ещё утром я бы не поверила, что вещь из бумаги и коленкора может казаться живой. Оливия Гарроу, технолог-ткачиха, двадцать пять лет, знающая цену каждой нити, стояла у окна и боялась обыкновенной тетради. Смешно. Я улыбнулась сама себе, и отражение в стекле улыбнулось в ответ, кривовато и без особого веселья.

Я знала, что будет дальше, и знала это так же точно, как знала, что основа без натяжения пойдёт волнами. Тетрадь нужно было где-то хранить. Не в банке, потому что банк уже описал всё, что у нас было. Не в доме на Кленовой улице, потому что там теперь ходили приставы и секретари с вежливыми лицами. И не на фабрике, где, судя по мелу на банках, у стен были уши.

Значит, оставалось одно: носить её с собой и ни с кем не делиться. Я сама себе это уже пообещала, и обещание было честным, только цену за него я пока не понимала. Агнес не стала бы копаться в моём пальто. Пэйн, скорее всего, не стал бы спрашивать. Но кто-то другой, кто знал про ключ, про панель и про мел, уже, возможно, считал, сколько времени у меня займёт дойти от склада до крыльца.

Я отошла от окна и пошла к выходу. На лестнице никого не было. Внизу, в проходной, сторож читал газету и не поднял головы. Я толкнула тяжёлую дверь, и холодный воздух ударил в лицо, резкий, с запахом угля и снега. Пальто распахнулось, и тетрадь, пригретая моим телом, чуть сдвинулась под рубашкой. Я застегнула пуговицы до самого горла и пошла через двор, не оглядываясь, с ключом в кармане и тайной под одеждой.

Глава 3
Первый образец

Утром в ткацком зале было холоднее, чем на улице. Так всегда бывает там, где греют паром, а не воздух: котлы гонят жар по трубам, трубы тянутся под потолком, и тепло уходит вверх, к стропилам, оставляя внизу тех, кто стоит у станков. Я пришла, когда первая смена ещё не запустила приводы, и зал стоял тихий, как церковь, если бы в церкви пахло машинным маслом, мокрой шерстью и угольной пылью.

Станок номер четыре стоял у дальнего окна. Не самый быстрый, зато самый покладистый. Дед выбрал его сам, когда ставил в зал новые ремизы, и любил говорить, что четвёртый не врёт: если он идёт ровно, значит, основа ровная, а если рвётся, виноват тот, кто натянул. Я в это верила ещё ребёнком, когда пряталась под станинами и считала шатуны.

Тетрадь лежала на верстаке, раскрытая на нужной странице. Я перечитывала формулу дважды за ночь и один раз ещё в трамвае, хотя трамваев в нашем районе ходило мало, и ехала я в основном на нервах. Дедовский почерк мелкий, с завитками на заглавных буквах, и писал он так, будто каждое слово стоило ему отдельного талера. «Основа — сырец, двойной кручёный, без замасливания. Уток — с крошкой, одна часть на десять. Температура сушки не выше тридцати шести. Не спешить. Ткань слушает руку».

Последнюю фразу я перечла три раза. Потом решила, что дед, как все старики с фабриками, просто любил красивые слова. Но формулу я проверю по букве, потому что по-другому не умею.

Я натянула основу сама. Агнес обычно не давала хозяйке прикасаться к бёрдам, но её в зале пока не было, и я сделала всё по привычке: поставила вал, пропустила нити через ремизы, сосчитала по две на каждую прорезь. Двести сорок нитей на сантиметр, как и было записано. Для шёлка это много, для живого шёлка, судя по тетради, достаточно. Нити под пальцами были прохладными и гладкими, как сырая кожа. Я провела ладонью вдоль ряда, и один волосок, тонкий, как женский локон, зацепился за кольцо на указательном пальце. Я осторожно его отцепила и подула на него. Он улетел в сторону окна и исчез в полосе серого света.

Крошку я смешивала в эмалированном тазу, в тёплой воде, которую нагрел кипятильник в углу. Пахло мелом и чем-то горьковатым, вроде полыни. Крошка оседала на дно светлыми комками, и я долго размешивала её деревянной лопаткой, пока смесь не стала однородной, молочно-серой. Уток намотала на челнок, запустила станок вручную, одной рукой поворачивая маховик, и ткань начала расти под бёрдом, сантиметр за сантиметром.

Первые двадцать сантиметров я прошла медленно. Потом ритм поймал меня, и стало не до мыслей: челнок, удар бёрда, нажим педали, снова челнок. Станок тикал, как часы, и я слышала в этом тиканье не механику, а дыхание. Когда появилась первая полоса ткани, она была тускло-голубой, почти серой, с едва заметным блеском, как вода на стекле. Я подняла отрез, и он сразу изменился. Под светом лампы он стал глубже, темнее, словно вдохнул.

Я положила ладонь на полотно.

Сначала ничего не произошло. Ткань была прохладной, как любой шёлк, который лежал ночь в нетопленом складе. Потом я почувствовала, как тепло моих пальцев уходит в нити, и нити отвечают. Полотно под рукой подтянулось, сделалось плотнее, словно собралось в складку, которой не было секунду назад. Я нажала сильнее, и оно не прогнулось, а упруго вернулось назад. Плотность стала другой, почти как у кожи. Или, точнее, как у ткани, которую кто-то только что надел на себя и которая запомнила форму тела.

— Вы опять что-то жжёте, — произнёс голос у меня за спиной.

Я вздрогнула так, что едва не выпустила отрез. Агнес стояла в проходе, в рабочем фартуке, с чугунной кружкой в руке. Кружка дымилась, и запах крепкого чая перебил на миг запах краски. Агнес пришла раньше своей смены, как обычно. Мне кажется, она вообще не уходила с фабрики, а просто переставала на ней появляться лишь для того, чтобы поспать несколько часов.

— Ничего не жгу, — сказала я. — Проверяю.

— Проверяете. — Она поставила кружку на край верстака, рядом с тетрадью, и я поспешно прикрыла коленкор ладонью. Агнес заметила и промолчала. — Покажите.

Я протянула отрез. Агнес приняла его за край, не глядя, как принимают чужую работу, которую заранее не ценят, и поднесла к свету. Потом вытянула полотно между пальцами, проверяя на разрыв. Её руки двигались медленно и точно, каждое движение было выверено годами, и я вдруг подумала, что её пальцы знают о ткани больше, чем вся моя двадцатипятилетняя технология.

— Цвет плывёт, — сказала она.

— Да. От тепла.

— Я вижу, что от тепла. Я не слепая, хозяйка. — Агнес повернула отрез, и свет лампы скользнул по нему, как масло по стеклу. — Дедова работа?

— Формула его.

— Формула. — Она хмыкнула. — Он вечно говорил про формулы, а потом ставил станок, который работал по глазу. Ладно.

Агнес отпустила край и перешла к станку. Положила ладонь на основу, там, где нити уходили к валу, и дёрнула, сначала осторожно, потом сильнее. Станок отозвался едва слышным гулом, нити натянулись в одну линию, как струны. Она дёрнула ещё раз. Затем нагнулась, проверила крепление бёрда, прищурилась, глядя на строчку нитей, и выпрямилась.

— Обычный сырец на таком натяжении пошёл бы волной, — сказала она. — Здесь не пошёл. Видите?

Я посмотрела. Строчка стояла ровно, без провисания и без перекоса.

— Вижу.

— Держит нагрузку, — продолжила Агнес, и в её голосе ни капли восторга, только сухая констатация, как у приёмщицы, которая считает мешки с хлопком. — Лучше, чем обычный шёлк. Намного лучше. Если на ней будет ровный ход, без рывков, она выдержит и двойную натяжку, и мороз в складе. Не знаю, что он туда подмешивал, но подмешивал не зря.

Я не ответила сразу. Хотелось сказать что-то умное про технологию, про запас прочности и про то, как крошка связывает волокно, но слова застряли где-то между горлом и тетрадью. Агнес смотрела на меня так, будто ждала, что я сейчас начну врать, и я, кажется, почти начала.

— Спасибо, — сказала я наконец.

— Не благодарите. Я сказала, что держит, а не что это принесёт вам деньги. Это разные вещи.

Она взяла кружку, отпила, поморщилась от горечи и посмотрела в окно. За стеклом светлело небо, серое, низкое, с полосой желтизны над каналом. Баржа с углём уже проходила мимо, и в её трюме что-то глухо скрипело на каждой волне.

— Станок номер семь, — сказала Агнес, не оборачиваясь. — Ещё четыре дня. Не забудьте.

И ушла, не прощаясь, стуча каблуками по металлу, как всегда.

Я осталась стоять у станка с отрезом в руках. Полотно под пальцами снова стало прохладным. Я сжала его, и оно послушно собралось в складку, плотное, упругое, тёплое от моей ладони, будто запомнило прикосновение и не собиралось его отдавать. Я поднесла отрез к окну. Холодное стекло было в нескольких сантиметрах от ткани, и я почувствовала, как оно тянет

из полотна тепло. Синева дрогнула, потемнела, сдвинулась к сизому, потом к чему-то почти фиолетовому, пепельному, как вечер над каналом.

Это было совсем не то, что обещала тетрадь, и одновременно именно то. Я стояла, глядя на ткань, которая меняла цвет от холода, и не могла отделаться от ощущения, что формула работает, работает всерьёз, и что деду, если он где-то там слушает, это бы понравилось. Нет, не понравилось бы. Он бы сказал, что я слишком долго смотрела, а надо было уже считать.

Я положила отрез на верстак, рядом с тетрадью, и впервые за день улыбнулась по-настоящему.

* * *

Смена почти закончилась. Станки в ткацком зале один за другим замедляли ход, как усталые лошади у водопоя, и последним стучал седьмой, тот самый, с изношенным эксцентриком. Агнес дважды ударила по нему ладонью, словно уговаривая, и он нехотя затих. В наступившей тишине стало слышно, как капает вода в умывальнике и как за стеной переговариваются ночные рабочие, которые пришли раньше времени и теперь ждали Пэйна у ворот.

Я сворачивала отрез, аккуратно, слоями, как учила Агнес, чтобы не оставить на сгибах заломов. Полотно в руках оставалось тёплым, хотя тепла моих пальцев уже не хватало, чтобы его удержать. Ткань словно медленно возвращалась к прохладе склада, и мне было жаль отпускать её.

Пэйн заглянул в дверь, поправил рукав синего халата и кивнул мне:

— Хорошего вечера, мисс Гарроу. Седьмой ещё будет капризничать, если его не трогать. Агнес знает.

— Агнес всё знает, — ответила я.

— Это её главное достоинство. — Он улыбнулся, вежливо, без лишнего, и ушёл вглубь цеха, где уже вспыхнули лампы у печей.

Я проводила его взглядом и вспомнила, что до сих пор не видела его кисти на журнале ночных смен. Эта мысль пришла и ушла, как нитка на сквозняке.

Человек вошёл через боковую дверь, которую никто не запирал, потому что запирать её было нечем, кроме старой щеколды. Я услышала сначала звук шагов: ровный, неторопливый, с мягким каблуком, какой бывает у обуви, которую чистят каждое утро. Потом увидела его силуэт в проёме, на фоне серого вечера.

Пальто было из тёмного драпа, мягкого на вид, с бархатным воротником, и сидело на нём так, как сидит только дорогая работа: ни одной лишней складки, ни одного напряжения в плечах. Шляпу он держал в левой руке. Правая была в перчатке из кремовой кожи, тонкой, почти прозрачной по краям. Такие перчатки не носят на фабрике, их носят в экипажах и в гостиных, где ценят, чтобы руки ничего не касались.

Я подумала о письме Джулиана, о словах про бархатные перчатки, и мне стало неприятно, почти смешно. Джулиан, конечно, имел в виду что-то другое, но сейчас, глядя на эту перчатку, я не могла думать ни о чём другом.

— Мисс Оливия Гарроу? — спросил он.

— Смотря кому, — сказала я.

Он чуть наклонил голову, словно оценил ответ, и улыбнулся уголком рта.

— Эндрю Кейл, поверенный торгового дома «Тессель и партнёры». — Он протянул визитку, держа её двумя пальцами за край, и я приняла её, не снимая своей перчатки, тёмной, рабочей, с прожжённым пальцем. — Простите, что без предупреждения. Мне сказали, что здесь ещё работают.

— Здесь всегда работают, — сказала я. — Иначе не было бы чем платить.

Агнес стояла у соседнего станка. Она не обернулась, не отложила челнок, не повела плечом, только продолжала крутить регулировочный винт, мелкими рывками, с тем же сосредоточенным лицом, с каким читала бы счёт. Но я видела, что она слушает каждое слово, и знала, что завтра эти слова будут обсуждены в курилке у канала.

— Мне рассказывали о вашем образце, — сказал Кейл, оглядывая зал, словно это была галерея, а не цех с пятнами масла на полу и копотью на балках. — Очень своеобразная ткань. Не ожидал увидеть такое в Нижнем квартале.

— Мы и сами не ожидали, — ответила я.

— Вы умеете держать лицо. Это редкость в вашем положении.

— В моём положении лицо держать дешевле, чем всё остальное.

Он рассмеялся тихо, без радости, и подошёл к верстаку. Остановился перед отрезом, который я уже свернула, но не убрала. Не прикоснулся. Смотрел на полотно так, как смотрят на чужую карту, в которой отмечено место, где лежит клад.

— Мы готовы предложить за фабрику сто восемьдесят тысяч талеров, — сказал он спокойно. — Здание, станки, склад и патентные права, если они у вас есть. С учётом того, что закладные вашей семьи выкуплены нашим домом, часть суммы пойдёт на погашение обязательств. Остальное поступит вам. Около сорока тысяч, если быть точным.

Сорок тысяч. Я мысленно умножила на пять, вычла налоги, потом вычла долги деда и отца, потом вычла долги Джулиана, которых, как выяснилось, было больше, чем я готова признать. Цифра не сходилась ни с чем, кроме одного: фабрика уходила, а вместе с ней уходило всё, что я могла бы назвать своим.

— Вы предлагаете мне купить собственную фабрику в рассрочку, — сказала я. — Или заплатить вам за право в ней работать?

— Я предлагаю вам разумный выход, мисс Гарроу. Сохранить хотя бы часть.

— Вы говорите так, будто моя фабрика уже в ваших бумагах.

Он поднял бровь, почти незаметно.

— Это не мои бумаги. Я лишь выполняю поручение.

— Чьё поручение?

— Моего нанимателя. — Он снова улыбнулся. — Он предпочитает, чтобы его имя не звучало в цехах. Вы поймёте почему, когда вернётесь к расчётам.

Я почувствовала, как внутри что-то сжалось, не страх, а раздражение, холодное и тонкое, как струна на натяжке. Агнес наконец выпрямилась у станка, вытерла руки о фартук и посмотрела на гостя так, как смотрят на сломанную деталь, которую пора выбросить.

— Вам лучше уйти, — сказала она. — У нас не продают. Здесь ткут.

Кейл повернулся к ней, слегка поклонился, словно признавая её право на вердикт.

— Мадам Роуз, если я не ошибаюсь. Вы работаете здесь тридцать лет. Вас тоже касается наше предложение, поверьте. Новые хозяева обычно не любят старых мастеров.

— Старые мастера и старые хозяева хорошо знают друг друга, — ответила Агнес. — Вы первый, кто хочет купить и то, и другое.

Он не ответил ей. Вместо этого снова посмотрел на меня, и в его взгляде не было ни угрозы, ни просьбы, только спокойное ожидание, как у человека, который давно знает конец партии и теперь просто ждёт, когда соперник сдвинет последнюю фигуру.

— Я полагаю, вы знаете, что ваш дед работал над составом, — сказал он. — Тетрадь в чёрном коленкоре. Она стоит намного дороже фабрики, мисс Гарроу. Если бы у вас был разумный поверенный, он бы подсказал вам её не держать под рукой.

Я не шевельнулась. Тетрадь лежала в кармане пальто, на вешалке у двери. Я не говорила о ней ни одной живой душе. Агнес видела коленкор, но она не знала, что это такое. Пэйн ушёл в другую часть цеха и вернулся бы только к печам. Нотариус Вайнберг молчал, как молчат все нотариусы, которым хорошо платят.

Или Кейлу сказали то, чего не сказала я.

— Какая тетрадь? — спросила я, и голос у меня прозвучал на удивление ровно.

— Та, что вы сегодня не смогли спрятать, — ответил он и надел шляпу. — Завтра утром мы пришлём бумаги. Вы подпишете или не подпишете, это ваше право. Но, поверьте, право у вас невелико.

Он вежливо поклонился и вышел. Шаги его стихли в коридоре, и через минуту хлопнула наружная дверь. В цеху стало тихо, слышалось только шипение пара в трубах.

Я опустила глаза на визитку. Белый картон, тиснённая фамилия, адрес в деловом квартале. Ни одной лишней буквы.

— Кто ему сказал? — спросила я вслух.

Агнес пожала плечами, не оборачиваясь:

— Здесь много ушей, хозяйка. И много языков. А вы хорошо прячете только то, что вам самой неинтересно.

Она вернулась к станку и снова взялась за винт. Я смотрела на её спину, на седые пряди, выбившиеся из-под косынки, и думала о том, что у меня нет ни одного имени, которое можно было бы вычеркнуть из списка подозреваемых. Ни одного.

Я сунула визитку в карман, рядом с тетрадью, и почувствовала, как коленкор сквозь ткань пальто холодит бедро, будто напоминая, что его уже кто-то видел.

Глава 4
Показ на Закатном

Дом «Сильвейн» стоял в начале Закатного проспекта, там, где мостовую выложили гранитом, а не брусчаткой, и фонари горели ровно, без копоти. Я приехала в половине одиннадцатого утра на извозчике, с тремя свёртками в холщовых чехлах на коленях. Извозчик смотрел на мои руки, испачканные в машинном масле, и на чехлы, и явно прикидывал, сколько с меня можно взять за то, что он не спросит, что там внутри.

Лакей в ливрее принял у меня свёртки так, будто это были больные птицы. Он не спросил фамилию. Посмотрел на мои ботинки, потом на перчатки, которые я не сняла, и сказал, что мадам ждёт в малой гостиной.

Малая гостиная оказалась размером с весь наш ткацкий зал на Зелёном канале, если убрать станки, копоть и четырнадцать часов шума. Здесь пахло лавандой, воском и чем-то сладким, дорогим, похожим на ваниль. Стены затянуты светлым шёлком с выпуклым узором, на котором я сразу узнала жаккардовый рисунок, сделанный грубо, с потерянными нитями на изнанке. Дом любил шёлк и не умел его ткать. Это было интересно.

Ровена Сильвейн сидела у окна в кресле с высокой спинкой. Серое платье без единого украшения, волосы убраны так гладко, что казалось, их отполировали. На руках перчатки из тонкой лайки, того же оттенка, что и платье. Она не встала. Только кивнула на низкий столик, где уже лежала белая льняная скатерть.

— Положите сюда, — сказала она. — И не разворачивайте, пока я не попрошу.

Я положила. Голос у неё был низкий, ровный, без нажима. Такой голос бывает у людей, которые привыкли, что их слушают, даже когда они молчат.

— Мне сказали, что вы технолог, — произнесла она. — Не торговец и не владелица. Технолог.

— Я была технологом, когда отец ещё считал, что женщинам незачем знать, сколько нитей в дюйме, — ответила я. — Теперь я владелица, и мне приходится знать ещё и то, сколько стоит каждая.

Ровена чуть приподняла уголок рта. Не улыбка, скорее признание, что ответ ей понравился, но показывать это она не собиралась.

— Покажите.

Я развернула первый свёрток. Голубовато-серый отрез, три локтя, плотный, но не тяжёлый, с той гладкостью, которая бывает у воды, если её остановить на мгновение. Ткань легла на скатерть и, казалось, вздохнула, расправляясь.

— Не трогайте голыми руками, — сказала Ровена.

— Тогда вы не увидите, что она делает.

Она помолчала. Потом, не снимая перчаток, взяла отрез двумя пальцами за самый край и приподняла. Рассматривала на свет из окна, так внимательно, будто искала в полотне фальшивую нить.

— Плотность?

— Сто сорок нитей на дюйм по основе. Утка в два раза реже, но с крошкой в каждой четвёртой. Поэтому полотно держит натяжение, когда тёплое, и не тянется, когда холодное.

— Крошка, — повторила она. — Вы произносите это слово так, будто его можно не объяснять.

— Его нельзя объяснить, не показав, — сказала я. — Поэтому я и принесла образцы.

Ровена положила отрез на скатерть и кивнула лакею, который стоял у двери. Он вышел и вернулся почти сразу, неся серебряный поднос с графином. Вода в нём была такой холодной,

что стекло запотело, и на подносе лежал кусок колотого льда, завёрнутый в полотенце. Лакей поставил поднос рядом с отрезом. Ровена сама достала из-под полотенца тонкий лёд и положила его на край ткани.

Полотно потемнело. Не сразу, а медленно, от места касания, как чернила в промокашке. Серо-голубой цвет стал гуще, почти стального оттенка, и там, где лежал лёд, ткань слегка подобралась, будто собралась в складку. Ровена не отдёрнула руку, она смотрела.

— Теперь ваша очередь, — сказала она.

Я сняла перчатку. Холодный воздух гостиной ударил по пальцам, и я почувствовала, как под ногтями осела привычная чёрная кайма от машинного масла. Ровена покосилась на мою руку, и я заметила, как чуть дрогнули её губы.

Я положила ладонь на отрез у самого края, там, где ткань была тёплой от моего дыхания и от дороги. Полотно под пальцами было прохладным и скользким, как рыбья кожа, но через мгновение оно стало теплее моей руки. Цвет начал светлеть от центра, от того места, где лежала ладонь, и вокруг него расходилась полоса светлого, почти молочного оттенка, как круги по воде.

Ровена наклонилась ближе. Кончиком затянутого пальца, очень осторожно, не касаясь ткани, она провела по краю светлой полосы, словно проверяла, не нарисовано ли это.

— Оно запоминает, — сказала она тихо.

— Оно реагирует, — поправила я. — Запоминает — это слово для торговцев.

— Торговцы хорошо продают память.

Я убрала руку. Полоса потемнела и через полминуты растворилась в общем тоне, оставив после себя лёгкий след, как от дыхания на стекле. Я ждала, что Ровена спросит о крошке, о формуле, о деде, о том, кто ещё знает состав. Вместо этого она спросила:

— Сколько локтей в месяц?

— Сейчас — сорок. При полной загрузке станков — сто двадцать. Если чистить красильное отделение и не терять партии на ночных сбоях.

— Сбои бывают?

— Бывают у всех.

— У вас — чаще, — сказала она спокойно. — Мне показали журнал.

Я почувствовала, как внутри всё замерло, а потом пошло дальше, но уже медленнее. Журнал был в конторе на фабрике, под замком, и ключ был только у меня и у Агнес. Значит, кто-то либо открыл его, либо сказал, что там записано.

— Журнал принадлежит фабрике, — ответила я. — Его смотрят те, кто на ней работает.

— Или те, кто хочет на ней работать, — сказала Ровена и откинулась в кресле. — Мне нужен первый сезон. Весь. Все показы, все три дома на Закатном, и мой в первую очередь. Вы поставляете мне по контракту, с правом исключительного доступа на шесть месяцев. Цену назову позже.

— А условия?

— Условия будут дальше, — сказала она и посмотрела на меня так, что я поняла: это не предложение, а проверка, как я буду реагировать на неполные фразы. — Вас это смущает?

— Меня смущает, что я не знаю, что вы мне предлагаете, — сказала я. — Контракт или ошейник.

Она чуть улыбнулась, и на этот раз улыбка была почти настоящей.

— Ошейники, мисс Гарроу, бывают разные. Некоторые даже выглядят как украшения.

Дверь в гостиную приоткрылась, и вошла женщина в шляпе с вуалеткой, за ней ещё двое мужчин, один из них с тростью, которой явно не пользовался. Ровена не встала. Она подняла бровь, и вошедшие остановились, словно наткнулись на стекло.

— Простите, Ровена, мы думали, вы одна, — сказала женщина в вуалетке, но взгляд её уже был прикован к скатерти, к отрезу, к моей голой руке, которую я не успела спрятать. — Боже, это что, то самое?

— Это образцы, — сказала Ровена. — Не для обсуждения.

Но обсуждать стали все. Мужчина с тростью подошёл ближе, наклонился, и я почувствовала запах его одеколона, слишком резкого, с нотами табака. Он не стал трогать ткань, только смотрел, как светлеет полотно, когда на него падает тень от его руки.

— Оно от тела, — сказал он с удовольствием. — Надо же. Представляете, какой эффект на вечернем платье? Оно будет меняться при танце.

— Оно будет меняться при любом прикосновении, — сказала я. — Вопрос в том, что вы готовы вынести.

Женщина в вуалетке рассмеялась, коротко, и посмотрела на меня уже не как на чужую. Она оценивала, как оценивают чужой лот на аукционе: сначала цену, потом возможные риски.

В салон входили новые люди. Кто-то шептал, кто-то громко требовал чаю, кто-то уже доставал блокнот и начинал считать, сколько метров понадобится для выхода на показ. Слово «живой» звучало всё чаще, пересыпанное французскими словечками, как монеты в кошельке. Я видела, как одна из гостей, в платье цвета сливы, незаметно провела рукавом по краю отреза, и ткань под её рукавом слегка потемнела, а потом, когда она отдёрнула руку, снова стала светлой. Она это заметила и посмотрела на меня с таким выражением, будто поймала на краже.

Я поняла, что здесь уже никто не думает о Гарроу, о банкротстве, о долгах. Они думали о ткани, и это было хуже всего. Ткань, которую я только что держала в руках, теперь принадлежала этим людям, как сплетни, и никто из них не собирался спрашивать, кто и как её ткал.

Ровена поднялась. Она оказалась выше, чем выглядела в кресле. Сняла перчатку с левой руки, всего один палец, и коснулась ткани кончиком указательного. Полоса вокруг пальца стала светлой, потом растворилась.

— Завтра, — сказала она мне тихо, так, что никто другой не слышал. — Пришлите полный отчёт по составу, и не тот, что вы пишете для банков. Настоящий.

Я хотела спросить, зачем ей настоящий, если она и так знает журнал. Но она уже повернулась к гостям и заговорила о сроках показа, о гарантиях, о том, что её дом не будет ждать, пока кто-то на окраине научится считать нити.

Я собрала отрезы в чехлы, стараясь не глядеть на скатерть, где остались влажные круги от льда. Лакей вернул свёртки, вежливо, с тем же выражением, с каким принимал их час назад. Когда я выходила, меня окликнула женщина в вуалетке.

— Мисс Гарроу, — сказала она. — Вы ведь понимаете, что теперь о вашей фабрике будут говорить?

— Я понимаю, что о ней уже говорят, — ответила я.

И поймала себя на том, что смотрю не на неё, а на мужчину с тростью, который стоял у окна и разглядывал меня с таким спокойным интересом, будто я была не женщиной, а новой тканью на витрине, и он прикидывал, кому её продать.

* * *

Газету принесли к семи утра, когда в цехе ещё не запустили паровой привод и слышно было только, как на дворе капает вода из водосточной трубы. Мальчишка из лавки на Зелёном канале сунул пачку под дверь конторы и убежал, не дожидаясь монеты. Я подобрала «Биржевой листок» с пола, вытерла ладонь о фартук и прочла заголовок дважды, прежде чем поняла, что речь идёт о нас.

«Шёлк с окраины: неизвестная фабрика переворачивает рынок».

Статья занимала полколонки на третьей странице, между объявлением о продаже паровых молотилок и колонкой светских новостей. Автор, судя по стилю, никогда не был дальше проходной. Он писал о «тёмных корпусах у канала», о «дымах, которые не поднимаются над крышами», и о «старом владельце, чья семья обрушилась в одну зиму». Фабрику он назвал «Гарроу и внуки» и тут же добавил, что её нынешняя хозяйка «молода, резка в суждениях и, по слухам, не склонна торговаться». Слухи, как я поняла, он собирал в буфете клуба на Лебединой набережной, потому что про резкость я не говорила ни одному человеку, кроме Агнес, а Агнес в клубы не ходила.

Потом шёл абзац о формуле. Тут автор разгулялся. По его мнению, секрет «живого шёлка» заключался в протравах на основе ализарина, в каком-то «минеральном растворе», а может быть, в «особом обжиге нитей, известном в семье покойного мастера». Он писал «по некоторым сведениям», «как утверждают осведомлённые люди», «не исключено, что». Ни одна из этих фраз не была про меня, но каждая попадала в крючок, на который можно было подвесить чужую сделку.

Я перечитала абзац про протравы и чуть не рассмеялась. Ализарин в нашем красильном отделении действительно был, но тетрадь деда писала о другом: крошка в основе держала натяжение, а краска только принимала то, что ткань уже сделала сама. Если бы кто-то пришёл к этому сам, ему понадобилось бы полгода станков и три сожжённые партии. Журналист же решил, что это химия, потому что химия звучит солиднее, чем «ткань слушает руку».

Я положила газету на стол и посмотрела в окно. Двор был пуст, только Пэйн пересекал его с фонарём в руке, хотя смена уже кончилась, и кивнул мне в стекло с таким видом, будто ничего не произошло. Может быть, и не произошло. Может быть, для него это был просто ещё один утренний день, в котором у фабрики появилась новая строка в чужой газете.

В половине девятого Агнес вошла без стука, как всегда. Она держала под мышкой журнал станков, а в другой руке сложенную газету.

— Видели? — спросила она.

— Видела.

— Они нас пропечатали. — Она положила журнал на стол и провела пальцем по строке про станок номер семь. — И станок семь пропечатали тоже, только не так, как надо. Пишут, что он работает на «новой системе эксцентриков». Что за система, спрашивается? Эксцентрик стёрт, и я это вам говорила ещё в понедельник.

— Вы говорили, что он требует ремонта.

— Я говорила, что он сдохнет к пятнице. — Агнес села на край стула, не снимая платка. — И про шёлк тоже пишут. Думают, что мы тут что-то варим в котлах. Пусть думают. Котлов у нас нет, зато есть Хедда, которая два года назад поймала мышь прямо в основе и не дала ей прогрызть полотно. Вот и вся наша тайна.

Я улыбнулась, но улыбка вышла кривой. Агнес заметила это и сощурилась.

— Вы что-то ещё получили. Рожа у вас такая, будто письмо пришло.

— Пока не письмо. — Я поднялась, открыла ящик, в котором лежали образцы, и достала белый прямоугольник, который принесли отдельно, уже после газеты. Курьер в тёмной ливрее без герба оставил его на крыльце и ушёл, не назвав отправителя. Внутри было только название фабрики, выведенное тем же почерком, что и на записке.

Агнес взяла карточку, повертела, посмотрела на обратную сторону, где ничего не было, потом на свет.

— Плотная бумага, — сказала она. — Дорогая. Таких у нас в конторе не водилось.

— Такие бывают у одного человека.

— У кого?

Я не ответила. Она и так знала, кто такой Дариус Вандербилт, как знали все в Эрендейле, кто подписывает векселя синдиката, а кто пишет поздравительные открытки в день рождения

мэра. Только Агнес считала, что синдикат живёт в столице, в конторах с медными табличками, а не в её цехе, где под ногами мотаются нити.

Карточка лежала на столе, и я прочла записку, которая была написана на обороте узкой полоской, словно вырезанной из деловой переписки.

Фабрика «Гарроу и внуки» отныне представляет мой интерес. Прошу принять это как данность, пока мы не научились говорить на одном языке.

Подписи не было. Инициалов тоже. Только тонкая черта под последним словом, которая могла быть точкой, а могла быть просто движением руки, поставившей запятую и забывшей про неё.

Я прочла записку второй раз. Почерк был ровный, без нажима, буквы стояли как шеренга в дождь, одна к другой, без единого лишнего завитка. Такой почерк не выдаёт волнения и не старается произвести впечатление. Такой почерк пишут люди, которые уверены, что текст будет прочитан в том виде, в каком написан, и не нуждаются в объяснениях.

Я перевернула карточку. На обороте не было ничего. Я перевернула её обратно. Там стояло то же самое: название фабрики, тиснёное, с лёгким наклоном букв, и её собственная фамилия, написанная так, будто он знал, как она произносится, и не собирался ошибаться.

— Что там? — спросила Агнес.

— Вандербилт пишет, что фабрика теперь его интерес.

Агнес медленно сложила газету вдвое, потом ещё раз, словно это помогло бы ей что-то решить.

— Он же не покупал её, — сказала она. — Его поверенный ещё вчера... Ну, Кейл приходил, предлагал. Вы же отказали.

— Отказала.

— Тогда что это значит? Интерес — это что? Он что, собирается прийти и сказать, что здесь ему нравится?

— Это значит, что он уже считает, что фабрика ему принадлежит, — сказала я. — Просто ещё не удосужился об этом сообщить.

— Удосужился, — буркнула Агнес и встала. — Хорошо хоть вежливо. Прежние хозяева присылали не записки, а приказы о сокращении. Тоже мне, разница.

Я не стала ей объяснять, что разницы почти нет. Вежливость в таких делах — это просто другая упаковка для того же самого. Но записку я всё-таки сложила аккуратно и убрала в конверт, потом передумала и положила в ящик с образцами, под отрез, где лежали протоколы опытов и тетрадь деда, которую я не отдавала никому, включая нотариуса.

Пока я возилась с ящиком, за окном загудел паровой котёл, и в цехе с металлическим стуком включилась первая линия. Станок номер четыре дрогнул, потом пошёл ровнее. Я услышала, как Агнес кричит кому-то в глубине зала, чтобы подняли натяжение на основе, и как Хедда отвечает ей что-то смешливое. Жизнь на фабрике шла своим порядком, как будто на третьей странице «Биржевого листка» никто не писал ни о ней, ни о нас.

Только теперь я понимала, что игра началась не сегодня и не с газеты. Статья была лишь первым ходом, который сделали за меня. Карточка с ровным почерком была вторым. А я ещё даже не решила, хочу ли вообще сидеть за этой доской.

Я закрыла ящик и заперла его на ключ. Потом, для верности, проверила замок ещё раз, хотя знала, что ключ один, и он у меня в кармане, рядом с ключом от склада.

Ключ лежал в кармане жилета, тёплый от моей руки, и я несколько секунд просто держала его между пальцами, ощущая неровный зубец бородки. Дед заказывал такие замки у слесаря с Нижней улицы. Тот брал за работу вдвое против обычного и, по словам отца, никогда не делал два одинаковых ключа. Значит, второго не существовало. Или существовал там, где его никто не станет искать.

Я вышла в зал. У станка номер семь уже стоял Пэйн с масленкой и чистой ветошью. Он работал неторопливо, как хирург, который знает, что пациент не сбежит. Эксцентрик он осматривал без единого лишнего движения, провёл пальцем по металлу, потом поднёс палец к свету и посмотрел на след от масла.

— Вы сегодня рано, мисс Гарроу, — сказал он, не поворачиваясь.

— Я всегда рано, когда у нас в газетах появляются наши станки.

— Газеты пишут то, что им продают, — ответил он. — Станок от этого не меняется. Он стёрт, и через четыре дня он встанет, если его не поменять. Миссис Роуз уже сказала вам это?

— Миссис Роуз говорит это каждый день.

— Значит, она права каждый день. — Он аккуратно вытер руки и наконец взглянул на меня. Лицо у него было усталое, спокойное, с тем выражением, которое бывает у людей, привыкших отвечать за чужие ошибки. — Если вам понадобится расписание смен на следующую неделю, я могу подготовить его сегодня же. Ночью у нас всё тихо, но тишина на фабрике тоже нуждается в учёте.

Я поблагодарила его и попросила принести расписание в контору. Он кивнул, как кивают старшие по возрасту, которым неловко принимать распоряжения от молодых, и вернулся к станку.

Я смотрела на его спину и думала о тетради. Пэйн работал здесь при деде. Он мог знать о станках, о протравах, о том, как часто в красильне подтекают трубы. Он не мог знать о крошке в основе, потому что дед писал о ней только в чёрном коленкоре, и тетрадь эта лежала в нише за панелью, куда ни одна живая душа, кроме меня, не заглядывала. Или, по крайней мере, я на это надеялась.

В конторе я снова развернула газету и перечитала абзац про «семейного мастера». Журналист не назвал дедушку по имени, но упомянул «мастера, чьи записи до сих пор хранятся в семье». Никто в Эрендейле не говорил об этом вслух. Даже нотариус Вайнберг, который читал завещание, знал только, что у деда были бумаги, а не какая-то конкретная тетрадь. Я сама не решалась произнести это слово даже мысленно, как будто оно могло прорасти через стены.

Значит, кто-то знал. Не догадывался, а знал. И этот кто-то разговаривал с человеком, который пишет статьи для «Биржевого листка», и, возможно, с тем, кто присылает карточки с ровным почерком.

Я отложила газету и подвинула к себе журнал смен. Строки ночных дежурств тянулись ровными колонками, в каждой графе стояла подпись старшего, но в колонке с подписями начальника ночной смены я всё ещё не видела ни одного имени. Пэйн, по журналу, вёл смену, но расписаться в ней не считал нужным. Я записала это на отдельный листок и сунула под промокашку.

Если Дариус Вандербилт действительно считал фабрику своим интересом, он не стал бы ждать, пока я сама разберусь, что у меня в руках. Он, очевидно, уже всё знал, и мне оставалось только понять, что именно.

Я закрыла журнал. За окном Агнес снова кричала на кого-то в глубине зала, и станок номер четыре пошёл на последний ряд, ровно, без рывков. Записка лежала в ящике под отрезом, и я всё ещё помнила её буквы, стоявшие одна к другой без единого лишнего движения, как будто тот, кто их выводил, был уверен, что я прочту именно то, что он написал, и поступлю так, как он рассчитывал.

Я не собиралась доставлять ему такого удовольствия. Пока.

Глава 5
Долговая петля

Первым о продаже закладных я узнала не из письма и не от банкира, а от кучера, который отказался ждать меня у подъезда «Северного кредита».

— Простите, барышня, — сказал он, перехватывая вожжи. — Тут у вас сегодня очередь. Все, кто с Кленовой, стоят.

Очередь действительно тянулась вдоль мраморной стены: мужчины в мокрых от снега пальто, одна женщина с папкой, перевязанной шнуром, двое поверенных в одинаковых серых котелках. Никто не разговаривал. Все смотрели на дверь, за которой кто-то время от времени произносил фамилии, как на аукционе. Я простояла сорок минут, пока не назвали «Гарроу». Меня провели в кабинет без окон, где пахло сургучом и остывшим чаем.

Клерк по фамилии Ланг, бледный, с аккуратным пробором и чернильным пятном на манжете, выложил передо мной три папки и не стал их открывать.

— Ваши закладные по фабрике и складу, мисс Гарроу, — сказал он. — Вернее, теперь уже не наши. Банк продал их в прошлом месяце.

— Кому?

— Держатель закладных — «Вандербилт-Текс». Синдикат выкупил пакет целиком, с процентами и пенями. Вам, как правопреемнице, должны были направить уведомление.

— Его направили на Кленовую, — сказала я. — Где сейчас никто не живёт, кроме пристава.

Ланг на секунду поднял глаза, потом снова уткнулся в бумагу.

— Тогда я вынужден повторить условия. Платёж по процентам просрочен на двадцать три дня. Синдикат вправе требовать досрочного погашения.

— Сколько?

Он назвал сумму. Я не стала её записывать, потому что помнила её и так: сумма была не моя, а чужая, и каждая её цифра принадлежала кому-то, кто уже не мог ею распорядиться.

На улице я постояла под навесом и перечитала короткую выписку, которую Ланг, сжалившись, всё-таки переписал от руки. Слово «переуступка» стояло в ней трижды, и ни разу — имени того, кто её подписал.

Потом я поехала к поставщикам. Сначала на склад шерсти в Нижнем квартале, где пахло ланолином, мокрыми мешками и ещё чем-то кислым, похожим на заплесневелый хлеб. Приказчик в кожаном фартуке вывел меня к штабелям тюков, закрытых брезентом.

— Мистер Брандт просил передать, — сказал он, глядя куда-то мимо меня, — что партия на следующей неделе не выйдет. Перенос до апреля.

— У нас договор на март.

— Договор был до вчерашнего дня, — сказал приказчик и улыбнулся тем вежливым извиняющимся образом, каким улыбаются, когда получили распоряжение и не собираются его обсуждать. — Извините, мисс Гарроу. Это не моё решение.

Я спросила, кто принимает решения, и он ответил, что у них теперь другие условия поставки, и показал мне письмо на бланке, где стояла та же фраза про «пересмотр сроков в связи с изменением финансового положения контрагента». Я спросила, что изменилось в положении контрагента. Приказчик пожал плечами.

К красильщику Гольдману я приехала, когда уже начинало темнеть. Его склад стоял у самого канала, и запах протравы там был такой густой, что казалось, его можно потрогать. Чаны стояли в ряд, как бочки в погребе, и на поверхности одного из них пузырилась тёмно-синяя

плёнка, похожая на застывший бензин. Сам Гольдман, маленький, с руками, испачканными до запястий, говорил со мной, не выпуская из рук деревянной мешалки.

— Мисс Гарроу, — сказал он, — я вас уважаю. Ваш дед был порядочным человеком. Но поставки ализарина я переношу. Не отменяю, переношу.

— Почему?

— Потому что мне сказали, что ваш счёт заморожен, и я должен ждать решения банка. А банк уже не банк, а, как это сейчас говорят, держатель.

— Кто вам это сказал?

Гольдман посмотрел на мешалку, потом на меня.

— Человек, который платит за мой ализарин, — ответил он, — и который платит вовремя. Вы же не думаете, что я стану спорить с тем, кто платит вовремя?

Я пыталась вспомнить, кто из моих знакомых мог бы сказать такую фразу, и поняла, что это не имеет значения. Важно было другое: все трое, Брандт, Гольдман и банковский клерк, произносили одни и те же слова, как будто их заучили по одной бумаге. Перенос, пересмотр, держатель, изменение положения. Никто не спорил, никто не угрожал. Просто за каждым шёл какой-то общий механизм, и я, как станок номер семь, начинала скрипеть в тех местах, где его поставили слишком туго.

Я ехала обратно, держа на коленях папку с выписками, и думала, что мне не нужно ничего доказывать. Синдикат не обязан был ломать меня сам. Ему достаточно было сделать так, чтобы я сама пришла и попросила.

Деловой квартал начинался за Биржевым мостом. Там улицы были шире и чище, фонари стояли через каждые двадцать шагов, а дома напоминали не конторы, а банки для хранения чего-то очень ценного и очень хрупкого. Контора «Вандербилт-Текс» занимала четыре этажа бело-серого камня. Входная дверь была тяжёлой, но открывалась без скрипа, и это мне почему-то не понравилось: я привыкла, что хорошая дверь должна хоть немного сопротивляться.

Внутри пахло бумагой, чернилами и лёгким мужским одеколоном, в котором угадывалась сандаловая нота. Стены были обиты светлым шёлком с едва различимым тиснёным узором, и я, прежде чем успела себя остановить, провела пальцами по краю ближайшей панели. Ткань была прохладной, плотной, с ровным ворсом. Хорошая работа. Очень хорошая. Кто-то потратил на неё больше, чем стоила вся моя фабрика за год.

В большой приёмной за стеклянной перегородкой стояли столы, и за ними сидели клерки в одинаковых жилетах. Один из них говорил в телефонную трубку, другой раскладывал бумаги по стопкам, третий ждал, пока чернила высохнут на документе. Посреди комнаты, у длинного стола, стоял Дариус Вандербилт.

Я видела его раньше, на трёх фотографиях в «Биржевом листке», и на всех трёх он выглядел так, будто позировал неохотно. Сейчас он не позировал вовсе. Он стоял, опершись ладонью о край стола, и слушал клерка, который читал вслух пункты какого-то договора. Голос клерка дрожал, как у человека, которому велели прочитать чужое завещание. Дариус не перебивал. Когда клерк сбился, Дариус произнёс одно слово: «Дальше», — и клерк продолжил, и ни одна нота в голосе Вандербилта не поднялась выше обычной.

Потом к нему подошёл другой клерк с папкой. Дариус взял перо, не глядя на бумагу, поставил подпись и отдал папку обратно. Он не прочитал ни одной строки. Я видела, как он пробежал взглядом по заголовку, и на этом всё. Подпись была короткой, с резким нажимом на конце, и мне показалось, что это единственное место на листе, где он позволил себе какое-то движение.

— Ещё, — сказал он, и следующая папка легла перед ним.

Я стояла у стеклянной перегородки и считала, сколько таких подписей он поставил за те минуты, что я наблюдала. Девять. Может быть, десять. Ни одной без паузы, но и ни одной с раздумьем. Так подписывают письма, которые уже давно решено отправить.

Я уже хотела подойти к конторке и назвать себя, как заметила, что он смотрит в мою сторону. Не сразу, не демонстративно. Просто поднял голову, когда клерк перед ним замолчал, и его взгляд скользнул по стеклу, по мне, по моему пальто, по папке с выписками, которую я прижимала к груди, как щит. Он ничего не сказал. Только чуть заметно кивнул секретарю, сидевшему у дверей, и вернулся к следующей бумаге.

Секретарь, молодой человек в сером сюртуке с серебряной булавкой на галстуке, поднялся и подошёл ко мне. Галстук у него был из серого шёлка, мягкого, с матовым блеском, и я машинально отметила, что такой шёлк не ткут на обычных станках.

— Мисс Гарроу? — спросил он.

— Да.

— Мистер Вандербилт ждёт вас, — сказал секретарь и повернулся, не дожидаясь ответа. — Прошу сюда.

Я пошла за ним через приёмную, мимо клерков, которые не подняли головы, мимо длинного стола, за которым Дариус уже взял следующую папку. Перед дверью кабинета секретарь остановился, и я успела заметить, что ручка двери сделана из латуни, давно потемневшей у основания, там, где её касались тысячи рук.

Он распахнул дверь и отступил в сторону, пропуская меня вперёд.

Секретарь прикрыл за мной дверь, и звук вышел почти беззвучный, как будто её смазывали тем же маслом, что и шестерни в ткацком зале, только дороже. Я остановилась на пороге и сделала то, что делаю всегда в незнакомых помещениях: сначала посчитала, потом посмотрела.

Стены были обиты тем же светлым шёлком, что и приёмная, но здесь ткань была тёмнее, почти кофейного оттенка, и узор на ней ложился в другую сторону, против основы. Такой узор дают, если ткут на жаккардовом станке с двойным зевом, и на его создание уходит месяц работы одного мастера. Я перевела взгляд на потолок. Там не было лепнины, только ровный белый карниз. Очевидно, тот, кто обставлял кабинет, решил, что деньги должны говорить тканью, а не позолотой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.